

ОПЫТ АНАЛИЗА РЕЧИ СТАВРОГИНА
(«Чужое» слово и его контекстуализация
в процессе создания идеологии персонажей)

Ставрогин — самая спорная и наиболее загадочная фигура романа «Бесы». Если в других персонажах романа исследователи усматривают носителей тех или иных точек зрения на мир и, как правило, сводят их к тому, что принято называть «идеологией» (Шатов олицетворяет почвенничество, Кириллов — богоборчество, Шигалев — нечаевщину и т. д.), то Ставрогин вызывает самые разные, порой противоположные интерпретации.

Я задалась целью на основе методологии Бахтина проанализировать специфичность ставрогинской речи, главным образом в диалогах реальных или мысленных, в которые он вступает с окружающими голосами, проследить, каким образом его голос воспринимается, видоизменяется ими или же провоцирует их собственное слово, другой раз служит его отражением.

Работу я ограничила изучением ключевой с точки зрения развертывания сюжета «Бесов» первой главы второй части романа. В ней после того, как Ставрогин принял у себя Петра Верховенского, он отправляется по очереди навещать Кириллова, Шатова и Хромоножку с ее братом капитаном Лебядкиным. По пути ему два раза попадается Федька Каторжный. Эти встречи насыщены разговорами. Вещественное обрамление сведено к минимуму. Неизменно открыты двери, элементы обстановки либо малоприметны, либо повторяют то, что уже известно читателю из предшествующих глав (например, интерьер жилища Хромоножки). Смысловая нагрузка интенсивно переносится на диалог.

Ко всем своим собеседникам Ставрогин приходит якобы по делу. Кириллова он просит быть на следующий день своим секундантом в предполагаемой дуэли с Гагановым.

Во время разговора Кириллов излагает свое знаменитое кредо: время, страх, смерть, несчастье — суть всего-навсего идеп. Преодолев их, человек достигнет блаженства. Дойдя до последнего предела в преодолении страха путем самоубийства, человек станет Богом (или, по выражению Кириллова, «человекобогом»; 10, 189), ибо Бог есть всего лишь проекция человеческих страхов. Эту мысль Ставрогин пренебрежительно относит к «старым философским местам» (10, 188). Как установили Г. М. Фридендер и В. А. Туниманов, речь идет о философии Фейербаха, которая широко обсуждалась в среде петрашевцев (12, 222—223). Можно предполагать, что

в недавнем прошлом Ставрогин какое-то время увлекался его идеями.

До изложения Кирилловым своей заветной «идеи» Ставрогин сформулировал почти аналогичную мысль, но применительно к другим вопросам и притом с вопросительным знаком. Эта реплика конкретного диалога является, таким образом, одновременно и внутренним спором героя с самим собой — «. . . вдруг мысль: „Один удар в висок, и ничего не будет“. Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет, не так ли?» (10, 187).

Кириллов настолько одержим собственными мыслями, что не узнает их в формулировке Ставрогина, — он даже ставит под сомнение их новизну. Субъективизм Кириллова ведет его к отрицанию перархичности ценностей. «Все хорошо», — утверждает он. А значит, не существует различия между добром и злом (10, 188). Как мы уже указали, через некоторое время Ставрогин повторяет почти тот же упрек, но уже в адрес Кириллова.

Речь Кириллова и Ставрогина чем-то схожа. Слова их довольно нейтральны, деловиты, четки. Сходство это неудивительно, если учесть, что выраженные здесь мысли в известной мере перекликаются между собой и что на следующий день, во время дуэли, Ставрогин совершит своего рода попытку самоубийства, похожую на вызов. С этой мыслью он, видимо, и пришел к Кириллову, и она подспудным образом оттеняет речи того и другого.

Некогда услышанные у Ставрогина мотивы философии Фейербаха Кириллов превратил в догмат, в некую законченную правду. Они стали для него самодовлеющей, упорядоченной монологизированной системой.

На слова: «Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин» — он получает холодный ответ: «Прощайте, Кириллов» (10, 189—190).

После разговора с Кирилловым Ставрогин отправляется к Шатову, который живет в том же доме. Это подчеркивает условность внешне вполне реалистических деталей, ибо разговоры персонажей ведутся ими «в беспредельности» (10, 195), «вне пространства и времени» (10, 198). Со спокойной, деловой, четкой, связной, холодно-приличной речью Ставрогина контрастирует ломаная, бессвязная, разорванная, эмоционально перенасыщенная, иной раз грубая речь Шатова. На первые слова Ставрогина: «Вы примете меня по делу?» — он отвечает сугубо эмоционально: «Вы меня измучили < . . . >, зачем вы не приходили?» (10, 190). Фразы Ставрогина ясны, четки; в них преобладают вопросительное и приказывающее начала: «Вы так уверены были, что я приду?», «Не выкидывайте, зачем?», «. . . вы меня ударили не за связь мою с вашей женой?», «Положите < . . . > Скажите. . .» (там же).

Ставрогин занимает в беседе доминантную позицию, позицию беспрекословного разума. Внешне такая речь в высшей степени объективна и беспристрастна, о чем свидетельствуют повторы риторических оборотов, указания на мнимые логические связи отдельных кусков текста: «Ведь вы меня за нее ударили? < . . . > я тоже принадлежу

к ним, как и вы, и такой же член их общества, как и вы < . . . > и я угадал, и вы угадали. . . » (10, 191; курсив мой. — М. Г.).

Речь Шатова неотрывна от его выразительной мимики: « . . . начал он почти грозно, пригнувшись на стуле, сверкая взглядом. . . » (10, 196); « . . . продолжая грозно смотреть. . . » (10, 198); « Он вскочил с места < . . . > злобно засмеялся < . . . > весь вдруг задрожал < . . . > залепетал в иступлении » (10, 200); « . . . вдруг вскричал он в бешенстве, ударив кулаком по столу » (10, 191).

Речь же Ставрогина разумна, спокойна: « . . . довольно холодно продолжал Ставрогин » (10, 191); « . . . осторожно заметил Ставрогин. . . » (10, 199); « Ни один мускул не дрогнул в лице Ставрогина » (10, 201); « . . . усмехнулся он через силу. . . » (10, 202); « . . . тихо проговорил. . . » (10, 203).

Нейтральность ставрогинского слова усугубляется тем, что он мало употребляет местоимение «я» там, где оно не просто формальное указание к глаголу («понимаю», «мне жаль»), в отличие от Шатова, чья речь характеризуется чрезмерным употреблением местоимений «я» и «вы» (в начале фразы, с подчеркнутой интонацией): «Я за ваше падение. . . за ложь. Я не для того подходил, чтобы вас наказать < . . . > Я за то, что вы так много значили в моей жизни. . . Я их не боюсь! Я с ними разорвал » (10, 191).

Слово «они» по-разному звучит у Шатова и Ставрогина. У Ставрогина оно означает нечто грозное и вместе с тем неопределенное, у него местоимения обезличены; у Шатова же дело обстоит совсем по-другому.

И все же целый ряд нюансов указывает на то, что деланно-холодная, казалось бы, беспристрастная речь Ставрогина на самом деле явно устремлена в сторону собеседника. Проанализируем фразу: «И не потому, что поверили глупой сплетне насчет Дарьи Павловны?» (там же). Здесь выражение «глупая сплетня» указывает на неприятие Ставрогиным чужого мнения, чужого слова. Для выражения этого он пользуется презрительным объектным словом. На самом же деле «глупая сплетня» — правда. Отрицая ее, Ставрогин отстаивает свой поступок с оттенком вызова.

Фраза: «и я угадал, и вы угадали» (там же) устанавливает как бы знак равенства между «вы» и «я». Тем не менее в первом случае слова «я угадал» относятся к предполагаемой причине пощечины. Во втором же случае они — намек на суть скрываемой тайны, на что и указывает утверждение: «Вы правы» (там же). В итоге путем незаметных, едва уловимых переходов и сдвигов Ставрогин убеждает Шатова в том, что тот пришел к каким-то выводам своим умом, тогда как Ставрогин сам подсказал их ему. Точно так же Ставрогин косвенно придает конкретную реальность фразе Шатова: « . . . я бредил, что вы придете меня убивать. . . » (10, 190), говоря: « . . . может быть, вас убьют » (10, 191). Этот замысел он переносит на каких-то таинственных «они» во главе с Верховенским. На деле последнего он толкает на преступление под видом обратного, что и предвосхищается в следующих словах: « . . . этот Верховенский такой человек, что может быть нас теперь подслушивает, своим или чужим ухом. . . » (10, 192). В данном

случае «чужое ухо» есть, по-видимому, ухо самого Ставрогина, а слово «человечек» чуть дальше, в главе второй «Ночь (продолжение)», будет применено к убийце Федьке.

Более того, некоторые положения Ставрогина взаимно исключают друг друга, что остается для читателя незаметным только благодаря тому, что они в тексте далеки друг от друга и вклиниваются в бессвязную речь Шатова: «. . . я тоже принадлежу к ним, как и вы. . .» (10, 191), «Видите, в строгом смысле, я к этому обществу совсем не принадлежу. . .» (10, 193), «Если хотите, то, по-моему, их всего и есть один Петр Верховенский. . .» (там же), «Они сумели завести агентов в России <. . .>, но, разумеется, только теоретически» (там же).

Незаметные словечки дают Ставрогину возможность выворачивать наизнанку смысл своей речи.

В VII подглавке Шатов взволнованно-страстным тоном излагает славянофильские идеи, некогда пропагандировавшиеся Ставрогиним, причем эти слова он выдает за точный пересказ ставрогинских: «Это ваша фраза целиком, а не моя. Ваша собственная, а не одно только заключение нашего разговора» (10, 196). Тут он забывает о собственной интонационной окраске, которая, естественно, меняет смысл излагаемого.

Ставрогин мог в свое время излагать эти идеи Шатову как чужое мнение («Я полагаю, что это славянофильская мысль»; 10, 197). Шатов упорно игнорирует внутренний шок, который могли вызывать у Ставрогина эти идеи: «. . . убеждая вас, я, может, еще больше хлопотал о себе, чем о вас. . .» (там же). К тому же он отрицает право собеседника менять свои мысли: «Вы всё настаиваете, что мы вне пространства и времени. . .» (10, 198), — замечает Ставрогин, указывая на неотрывность для Шатова идеи от человека, ее выражающего. Здесь его позиция перекликается с позицией Кириллова, который утверждал, что времени больше не будет, ибо погаснет в умах великая мысль.

Из прежнего (двухлетней давности) устного заявления Ставрогина Шатов создал себе канон веры. Как Кириллов, он абсолютизирует, закрывает (замыкает), опредмечивает чужую речь. Диалогическую речь он превращает в систему. Таким образом рождается идеология, она выражается в форме непреложных истин, наделенных устойчивой формой общеобязательных законов, обобщений, догм: «Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестает быть русским <. . .> Не православный не может быть русским» (10, 197).

Кириллов абсолютизирует идеи в полном отрыве от субъекта, который является носителем их (роль Ставрогина для него абстрактна, а он готов умереть, чтобы доказать свою идею). Шатов же верит в свои теории лишь потому, что они были преподнесены Ставрогиним, причем, отрицая себя самого, он себя проецирует на своего Бога — Ставрогина, тем самым творит его (согласно теории Кириллова и его учителя Фейербаха): «Ставрогин, для чего я осужден в вас верить во веки веков? <. . .> Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете?» (10, 202).

В словах Шатова сказывается объективизация им чужого слова. Этим объясняется, казалось бы, странная легкость, с которой Шатов переходит от одной системы к противоположной. Ему не столь важно содержание, сколько личностные носители идеи. В любом случае они наделены для него статусом Бога, хотя Шатову «трудно менять богов» (10, 196).

В обоих случаях идеи исходят от Ставрогина. Но Кириллов об этом забыл, Шатов же не хочет понять, что Ставрогин забыл.

Иначе обстоит дело с Маршей Тимофеевной.

Упорно не смотрит она на Ставрогина, что указывает на ее нежелание поддаться его мыслям; своего измышленного «другого» Ставрогина («князь», «сокол ясный» и т. д.) она с решимостью отделяет от конкретного Ставрогина, называя его в третьем лице: «Боюсь только, нет ли тут чего с его стороны < . . . > Убил ты его или нет, признавайся!» (10, 217, 219).

Когда Ставрогин просит ее отождествить его с этим двойником, она отказывается с иронией: «Даже и со мной?» — «А вы что такое, чтоб я с вами ехала?» (10, 218).

Образ реального Ставрогина подвергается ряду снижений: «Нет, не может того быть, чтобы сокол филином стал. Не таков мой князь! < . . . > что за сова слепая подъехала? < . . . > Только мой — ясный сокол и князь, а ты — сын и купчиха! < . . . > Наняла она тебя, говори? У ней при милости на кухне состоишь?» (10, 218, 219).

Посредством мотивов сказки обыгрывается здесь тема нравственной слепоты. Ставрогин не видит других, он в них «вселяется», но не общается с ними. Уподобление Ставрогина лакею есть отрицание его благородного происхождения, отрицание его родства с матерью, которая тем самым лишена материнства: «Мой-то и богу, захочет, поклонится, а захочет, и нет < . . . > не он, думаю, не он!» (10, 219).

Разоблачение достигает кульминации в слове «самозванец». Оно продолжается последней фразой, брошенной вслед Ставрогину: «Гришка От-репъ-ев а-на-фе-ма!» (там же).

Самозванец — тот, кто самовольно решает, каким должно быть его имя, совершая символический отказ от родителей, от идеи происхождения. Это отказ от взгляда другого на себя. Субъект как бы объективизирует самого себя. Самозванец Ставрогин заражает окружающих своим самозванством. Ибо им, того не замечая, они заменяют собственное «я». Одна Хромоножка не поддается его искушениям, что впервые вызывает изменение ставрогинской речи. Из стилизованно-романтической она становится грубой: «Хотите? решаетесь? Не будете раскапываться, терзать меня слезами, проклятиями?» (10, 218). Затем совершается переход ко второму лицу: «За кого ты меня принимаешь? — вскочил он с места с искаженным лицом» < . . . > У, идиотка! — проскрежетал Николай Всеволодович, все еще крепко держа ее за руку < . . . > изо всей силы оттолкнул ее от себя, так, что она даже больно ударилась плечами и головой о диван» (10, 219).

Здесь у Ставрогина впервые появляется жестикация, не контролируемая им. Настоящий Ставрогин вылезает из-под своей оболочки, рождается на наших глазах, напоминая цступленного Шатова.

«Я моего князя жена, не боюсь твоего ножа!» (там же) — кричит Хромоножка Ставрогину. Слово «ножа» является зеркальным отражением, «оборотнем» слова «жена». Устанавливается к тому же причинная связь на основе метонимической ассоциации. «Изнаночная» сторона ставрогинской речи материализует слово «нож». Причем оно недолго останется символическим. То же происходит со словом «анафема». Оно является греческим переводом ивритского слова, означающего, с одной стороны, «святой», «священный», а с другой — «неприкосновенный, потому что проклятый». В церковном обиходе анафема означает отлучение от церкви, т. е. проклятие еретика. Возможно, имя «Отрепьев» содержит намек на слово «оторвать». Фамилия же Ставрогин этимологически восходит к слову «крест».

Презрительно-уменьшительное «Гришка» — ссылка на историческое самозваство, столь распространенное в старой России: «. . . читали вы про Гришку Отрепьева, что на семи соборах был проклят?» (10, 217). Формально оно мало подходит к Николаю Ставрогину, к которому никогда не применяют уменьшительных (мать называет его Nicolas). Это очередное снижение его образа. Здесь другое лицо навязывает ему сниженный образ презренного двойника, того «я», которое Ставрогин обычно прикрывает определениями и мыслями, выдаваемыми им за свои, и навязывает другим с тем, чтобы они стали как бы отражениями этого ложного, несущественного его «я». Отсюда проистекает ложность этих идей и их смертельная сила. Далее же «Гришка» переходит в «Федьку», который как бы дает материальную оболочку презрительной кличке «Гришка».

В заключительной главке нож становится конкретным предметом в руках Федьки, он является порождением произнесенных в каком-то сатанинском бреду слов Ставрогина «Нож, нож!». «Нож, нож!» — есть в некотором роде оторванная часть слов Хромоножки. Но вначале они вписывались в фольклорную, устойчивую форму, а теперь относятся к реальному ножу. «„Нож, нож!“ — повторял он в неутолимой злобе, широко шагал по грязи и лужам, не разбирая дороги. Правда, минутами ему ужасно хотелось захохотать, громко, бесш. . .» (10, 219).

Федьке удастся встать около Ставрогина именно в тот момент, когда герой, забыв обо всем на свете, одержим словом «нож». Федька — эквивалент этого слова, ибо он сам — «нож». «Его вдруг поразила мысль, что он совершенно забыл про него, и забыл именно в то время, когда сам ежеминутно повторял по себя: „Нож, нож!“» (10, 220).

Во время первой встречи: «Бродяга шел с ним рядом, почти „чувствуя его локтем“» (10, 204). Теперь же Ставрогин борется с Федькой и, увидев нож, приказывает спрятать его. Приказ этот может иметь несколько смысловых слоев («чтоб я не знал», «спрячь» и т. д.).

Меняется от главы к главе и Федькина речь. Если с самого начала его голос был «вежливо-фамильярный < . . . > с тем услашенно-сканди-

рованным акцентом, каким щеголяют у нас слишком цивилизованные мещане или молодые кудрявые приказчики. . .» (там же), то теперь он стал говорить «даже не то, что степенно, а почти с достоинством. Давешней „дружеской“ фамильярности не было и в помине» (10, 220). Мы уже отметили выше противоположную эволюцию в речи Ставрогина. Голоса Ставрогина и Федьки как бы идут навстречу друг другу.

Имя «Федька», «Федор» содержит в себе греческое слово «Бог» (θεός). «Крестили Федор Федоровичем», — говорит о себе Федька (10, 204). Так еще более подчеркивается смысловая знаковость его имени. Оно ассоциируется с фамилией Ставрогина (греческое «σταυρός» — крест распятия). Федор Федорович подвергается снижению, когда становится Федькой Каторжным. (Здесь, может быть, Достоевский, и самого себя впisal в роман: мы знаем, что целый ряд федькиных народных оборотов идет из сибирской тетради Достоевского). Имя «Николай» также деградирует. Рассказывая о том, как он ограбил церковь, Федор замечает: «Николая Угодника подбородник, чистый серебряный, задаром пошел: симплёровый, говорят» (10, 220). Здесь приводится чужая речь (исковерканные слова). Но это значит и «подделка», «самозванство». Мотив убийства скрыто прячется под псевдорелигиозной оболочкой набожных слов. Ставрогин делает вывод: «Режь еще, обкради еще» (10, 221). Смысл этой фразы зависит от интонации (приказа или возмущения). Федька выбирает вариант приказа, ссылаясь на слова Петра Верховенского, которого он сближает со Ставрогиным: «То же самое и Петр Степаныч, как есть в одно слово с вами, советуют» (там же).

А час назад тот же Федька указывал на разницу между Верховенским и Ставрогиным, подчеркивал свое собственное сходство со Ставрогиным. «Петр Степанович <. . .> — одно, а вы, сударь, пожалуй, что и другое. У того коли сказано про человека: подлец, так уж кроме подлеца он про него ничего и не ведает. Али сказано — дурак, так уж кроме дурака у него тому человеку и звания нет. А я, может быть, по вторникам да по средам только дурак, а в четверг и умнее его» (10, 205).

Итак, мы видим, что в «Бесах» ставрогинская речь рождает самые разные идеологии в лице каких-то одержимых, для которых в идеологиях важно не столько их смысловое содержание, сколько их носитель, Ставрогин, в котором они усматривают некоего Бога. Ставрогин же ни во что не верит, он «пробует» идеи, одну за другой, в чем он является достойным продолжателем Печорина и в то же время предтечей героя-«декадента» из романа «Петербург» А. Белого. Вера в носителя безверия предопределяет крушение этих идеологий. Они осуждены на исчезновение вместе с их носителями. Достоевский вскрывает пророчески механизм «вождизма», ставший столь печальным фактом в условиях зарождения массовых идеологий нашего века. Проследившая возникновение «вождизма», писатель вместе с тем указывает на его обреченность, на наиболее эффективный способ борьбы с ним: не путать навязанное слепо, извне мертвое «чужое» слово со своим собственным, выстрадавшим и наполненным трепетным веянием «живой жизни».